



Б. К. ЗАЙЦЕВ

Тютчев. Жизнь и судьба

(К 75-летию кончины)

...«Как звезды ясные в ночи». Это стихи Тютчева. Да, звезды. «Любуйся ими — и молчи». Но стихи рождены жизнью. Тютчевские стихи и особенно изошли из его жизни и судьбы. Может быть, сама жизнь эта есть некое художественное произведение?¹

Ее начало озарено почти волшебным: роскошный дом имения Овстуг (Брянского уезда, Орловской губернии). Изящный, ласковый мальчик, очень одаренный, баловень матери. В доме смесь духа православного с французскими влияниями. — Так и всегда было в барстве русском. Говорили в семье по-французски, а у себя в комнате Екатерина Львовна, мать поэта (урожденная графиня Толстая)², читала церковно-славянские часословы, молитвенники, псалтыри.

«Юный принц» возростал привольно. Учился, но нельзя сказать, чтобы умучивался трудом, — навсегда осталось широкое, вольготное отношение к работе.

Если уж говорить о дарах судьбы, удачах раннего его детства, то это будут две фигуры, по крови ему не родственные, но принявшие на свои руки его младенчество, юность: дядька и учитель. Хлопов и Раич.

Некогда крепостной Татищева, а затем отпущенный, Николай Афанасьевич Хлопов поступил на службу к отцу поэта. Был грамотный, богомольный, рассудительный человек. Пользовался полным доверием и уважением хозяев. Мальчику исполнилось четыре года, когда попал он в руки Николая Афанасьича — и долго продолжалась дружба, очень нежная, между барçonком — позже дипломатом, поэтом — и полурабом. За несколько лет до смерти с волнением вспоминает Тютчев, в пись-

ме к брату, о детски-восторженной привязанности своей к Николаю Афанасьевичу.

Явное дело: все поздние его «бедные селенья», «смирренная нагота» России были даны уже с детства, почти с колыбели в облике этом. Николай Афанасьевич Хлопов есть просто сама народная и православная Россия, приблизившаяся к ребенку и дохнувшая на него всей кротостью и простотой своей.

Семен Егорович Раич тоже была Россия, но Россия высоко просвещенная. Не в себе лишь замкнутая, а в даровитости своей вбирающая весь мир — поэзии и культуры. Учитель не из обычных. Брат митрополита Филарета Киевского, ученый, отчасти и сам поэт. Человек возвышенной настроенности, бескорыстный, склонный к энтузиазму. Рим, Италия, вот что влекло его. Переводил Виргилия, Тассо, Ариосто. Через него Тютчев с отрочества полюбил горизонты более далекие, чем Овстуг, Брянск и Орел. Раич сделал из него отличного латиниста — и уж вот четырнадцать лет, за перевод в стихах из Горация, он становится членом Общества Любителей Российской Словесности в Москве. Какой успех! Какой триумф дома, у себя — первый и, кажется, последний, в литературной жизни Тютчева.

В те времена счет годов шел быстрее: пятнадцатилетний мальчик, с блестящими, правда, способностями, готовился ко вступлению в Университет (Московский). И вот первая встреча, тоже отчасти волшебная, с настоящим, уже знаменитым поэтом: отец повел его в Кремль, представлять Жуковскому.

«Малый двор», двор Великого Князя Николая Павловича находился тогда (в 1818 г.) в Москве. Жуковский при нем также. Тютчевы попали в Кремль как раз в минуту, когда у В. Кн. Александры Федоровны родился сын, будущий Император Александр II. Палили пушки, гудели колокола, Жуковский с бокалом шампанского, как близкий к царской семье человек, из окна Чудова монастыря поздравлял народ. На молоденького поэта это произвело такое впечатление, что через пятьдесят лет, в полупараличе, пытался он вспомнить в стихах это раннее утро, «смирненную» келью «незабвенного Жуковского» в Чудовом монастыре, гул колоколов и салюты.

А тогда все еще было для него впереди: отлично учился, мог как равный рассуждать о литературе с Мерзляковым, выезжал в свет, и уже начинал бесконечную, сложную и драматическую историю своего сердца, своих влюбленностей.

В 1821 году Университет окончен, в феврале 22-го он уже в Петербурге, служит в Коллегии Иностранных Дел, а в июне граф Остерман-Толстой, родственник матери, увозит его в своей

карете за границу. Устраивает сверхштатным чиновником нашей миссии в Мюнхене. В той же карете, на козлах, уезжал с молодым барином домашний лар Тютчевых, Николай Афанасьевич Хлопов: Россия шла за поэтом на запад.

И пришла прочно, вселилась в немецкой квартире Тютчева в Мюнхене. Пока служил он в миссии, писал незрелые еще стихи и занимался романами, Николай Афанасьевич вел хозяйство был сам и поваром и опекуном. Готовил русские блюда, удивляя иностранных гостей, для себя устроил особый московско-православный угол с иконами и лампадками — с ним явился в Мюнхене тот русский язык, которого, кроме как у Хлопова, ни у кого там не было — биограф может удивиться, как это удалось Тютчеву так сохранить свою русскость и язык: но у Пушкина была няня, у Тютчева — дядька.

Николай Афанасьевич переписывался из Мюнхена с Екатериной Львовной — рассказывал ей о сыне, который писал домой лениво, редко. К сожалению, письма Хлопова не сохранились. Только об одном осталась семейная память: оно касается юной графини Амалии Максимилиановны Лерхенфельд («Я помню время золотое...»). Дядька сердито докладывал, что «Федор Иваныч изволили обменяться с ней часовыми цепочками и вместо своей золотой получили в обмен только шелковую».

Он прожил с поэтом до самой его женитьбы, в 1826 году, а потом уехал в Россию и через несколько лет умер, в доме Тютчевых же. Воспитаннику завещал замечательную Феодоровскую Иконку Божией Матери — все придумал сам: по четырем углам иконы изображения святых, чьи дни знаменательны в жизни Тютчева. Например, в верхнем углу Апостол Варфоломей и надпись — день отъезда в Баварию (11 июня 1822, день св. Варфоломея). На Преподобного Макария выпадает какая-то таинственная история в Мюнхене. Николай Афанасьевич написал: «Генваря 19-го, 1825 года Федор Иваныч должен помнить, что случилось в Минхине от его нескромности и какая грозила опасность». Но в следующем углу св. Евфимий Великий с изъяснением: «20 Генваря, т. е. на другой же день все кончилось благополучно». А всему образу «Празднество Февраля 5-го; в сей день мы с Федором Ивановичем приехали в Петербург, где он вступил в службу».

И еще одна надпись, тоже на задней стороне иконы, посредине: «В память моей искренней любви и усердия к моему другу Федору Ивановичу Тютчеву».

Икона священно хранилась у поэта в кабинете его, до самой кончины. «Моему другу, Федору Ивановичу Тютчеву»...

Роман с Амалией Лерхенфельд, от которого в литературе осталась драгоценность, в жизни Тютчева крупно не отозвался, ни Амалию Максимилиановну (которой было шестнадцать лет), ни его самого не сломил. Все это было очень юно и невинно. Ничего решительного не случилось, все само собою растаяло и испарилось, добрые же отношения остались навсегда. Амалия Максимилиановна вышла замуж, сначала за барона Крюднера, потом за графа Адлерберга. Жила в России, всегда Тютчеву была союзною державой. Это она привезла стихи его в Петербург в 36 году, она же хлопотала за него позже пред правительством — через Бенкендорфа. А совсем поздно, за три года до своей кончины, встретив ее в Карлсбаде уже немолодой женщиной, Тютчев написал ей нежные, не столь прославленные, как ранние, все же хорошие стихи («...И то же в вас очарованье, и та ж в душе моей любовь»).

В 1826 году он женился в Мюнхене на г-же Петерсон, урожденной графине Ботмер, «представительнице старейшей баварской аристократии». Это уже судьба — двенадцать лет жизни вместе, три дочери, радость и горе, драмы и ревность (ревновали всегда Тютчева, его, а не он — участь в этом иная, чем Пушкина). Как и Амалия Максимилиановна, Эмилия Элеонора была красавица, видимо, и вообще очаровательная женщина, пылкого характера и сильных чувств. Его же, кроме нее, привлекали и другие. Он вообще, по природе своей, не мог быть верен — в разных обликах являлось ему «вечно-женственное» и прельщало. Привело же это в мюнхенской жизни к тому, что однажды Эмилия Элеонора пыталась на улице заколоться кинжалом. (Он сам признавался, что любит она его так, как «ни один человек не был любим другим».) Удивительна и в самом Тютчеве сила чувства и переживания, несмотря на рассеянный, как бы веерообразный эрос: когда в 1838 году Эмилия Элеонора умерла, он посидел в одну ночь от потрясения. Но в это же время любил и другую, будущую свою вторую жену, тоже любовью трудной и драматической.

Эта другая была тоже германского происхождения, тоже аристократка, тоже вдова и тоже на четыре года старше его — баронесса Эрнестина Федоровна Дернберг-Пфевфель.

В 1837 г. Тютчев получил повышение по службе: его назначили в Турин, старшим секретарем посольства нашего при Сардинском дворе. Жена, Эмилия Элеонора, уезжала в Россию, он оставался один. Весной 1838 года она возвращалась из Петербурга на том самом «Николае I-м», на котором плыл юный Тургенев. Близ Любека на пароходе начался ночью пожар, недале-

ко от берега он и затонул. Эмилия Тютчева с тремя детьми мужественно вела себя на палубе, успокаивала детей, стоя у трапа, где внизу, сбоку бушевало пламя — они дожидались очереди спуститься в лодку. В этом показала себя много выше Тургенева. Но была уже здоровьем надломлена, возвращалась домой на новые тягости с мужем, потрясение первое на море все-таки было большое — это ее и скосило. Тою же осенью Жуковский, тогда сопровождавший наследника, встретился в Комо с Тютчевым (позже — и на генуэзской Ривьере, в Киавари). Отозвался о нем так: «необыкновенно гениальный и весьма добродушный человек, мне по сердцу», — их пути всегда сходились, — но был удивлен, что вот так убивается он по умершей, «а говорят, любит другую». Не только «говорят», но на Эрнестине Федоровне Дернберг Тютчев довольно скоро женился. По службе это обошлось ему дорого.

Он тогда жил в Турине. Венчаться приходилось в Швейцарии. Посланник отсутствовал, по летнему времени дел никаких, с браком по определенной причине надо спешить — Тютчев поступил решительно: не дожидаясь отпуска, запер посольство и самовольно уехал в Швейцарию.

Обвенчался благополучно и вовремя. Но службы лишился. Его просто уволили.

Не надо думать, что его мюнхенская жизнь только и заключалась в делах любви. Этот блестящий, высокообразованный молодой человек, по портрету нечто вроде юного Гете, в тогдашнего покроя сюртуке, высоких воротничках и галстуке, с огромным лбом, прекрасными глазами и правильно вьющимися кудрями много сил отдавал и другому: литературе, философии. Общение его — с людьми высокой марки. Шеллинг считал его «достойным собеседником» («...ein sehr ausgezeichnete Mensch, ein sehr unterrichteter Mensch, mit dem man sich immer gerne unterhält» *) — Шеллинг был тогда профессором Мюнхенского Университета, и Тютчев, хорошо осведомленный в германской философии, не только с ним беседовал, но и спорил — обладая, очевидно, равносильным вооружением — напал в особенности по православной линии.

В поэзии Гете и Шиллер были близки ему, лично сошелся он с Гейне — по сближающей черте романтизма. И не только встречался, но и переводил из него — первые переводы Гейне

* ...незаурядный человек, очень образованный, с которым всегда приятно вести беседу (нем.). — *Ред.*

на русский принадлежат Тютчеву. (Тютчев более зрелый и Гейне поздний мало, конечно, совместимы, но в мюнхенские времена это не удивляет.)

Главное же, начинал писать сам, и как следует. В начале двадцатых годов это еще «юношеское», но среди другого прекрасный перевод шиллеровской «Песни радости» — через шестьдесят лет знаменитый гимн этот в тютчевском одеянии переселится в «Братьев Карамазовых»³. Есть и из Гейне, но Лермонтов сосною своей затмил тютчевский кедр⁴.

Рождение Тютчева — великого лирика — 1828—30 гг.: «Видение», «Сон на море» и другие вещи. Теперь явился в литературе нашей уже не ученик Раича, хотя бы и член Общества Любителей Словесности, а ни на кого, ни на что не похожий истинный и огромный поэт — в прозрениях природы, космоса, сердца, как и в напевах стиха далеко опередивший свое время.

Загадочна его художественная судьба.

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои...

Вот заповедь, от которой не отступил он ни на шаг. Так скрывать, так таить все свое самое драгоценное уж не знаю, кто мог бы. Всматриваясь в его жизнь, поражаешься: но как же сам он относился к своему делу? Да, писал, в великой непосредственности, почти сомнамбулической, всегда в дыхании поэзии, волшебным преображал чувства, мысли... Что тут высокое творчество, сомнений нет. Но почему такая уж предельная от всех замкнутость? Себе и Богу? Художнику это чувство знакомо: Ты, Всевышний, судья мой. В Твоей вечности слабый мой голос, малого Твоего создания, войдет, может быть, некоей искрой в нетленный мир и сохранится, хотя я и писал это для себя. Это понятно. Но не все в этом. Художник ведь человек. Он живет среди братьев своих, и другой своей стороной, обращенной к людям стремится внедрить в них создание свое. Кто из писателей не желает распространения своего слова? Сколько драм из-за трудности дойти до читателя! Не одно тут тщеславие: всякий, кто отдал жизнь литературе, считает свое дело важным, а значит, ждущим ответного восприятия.

Поэт тютчевского размера неужто не сознавал, что его дело, хоть тихо и уединенно, но огромнейшей важности? Следя за днями его, получаешь впечатление: дипломат, философ, даже политик, утонченно трепетный человек, отзывающийся и на мир, на природу, на женское обаяние, блестящий острословный

собеседник... — и между прочим пишет стихи... Так, будто бы для забавы, и значения им не придает. Где Пушкин, где профессия, труд невидимый, но упорный?

Вот возвращается он домой, в дождливый вечер, весь промокший. Дочь снимает с него пальто. Он говорит небрежно: «J'ai fait quelques rimes» — и читает их. Она записывает. Это знаменитые «Слезы людские, о слезы людские...». Бог знает, не записала бы Анна Федоровна, может, они бы и не сохранились?

До 1836 года никто почти и понятия не имел, что вот есть такой поэт Тютчев. Мелочи появлялись в малоизвестных альманахах («Уrania», «Галатей») и журналах (вроде «Молвы»). Камергер Федор Иванович Тютчев пописывал стишки. Но для службы это не важно, для жизни тоже. Надо было, чтоб сослуживец, князь Иван Гагарин, заинтересовался писанием его. Амалия Максимилиановна отвезла стихи его в Петербург — через Жуковского и Вяземского они попали к Пушкину, издававшему тогда «Современник». Он напечатал их в своем журнале. Подпись: *Ф. Т.* — «Стихотворения, присланные из Германии».

Для чего давать свое полное имя? Пусть будет какой-то *Ф. Т.* «из Германии». Так продолжалось и дальше. Автор никакого внимания не обращал на свое детище. Оно жило подпольно, само по себе, и до времени мало известно. Кое кто его ценил. Но за годы — ни одного печатного отзыва⁵.

Дальше идет и совсем странное: с 1840 по 1851 г., за четырнадцать лет ни одного стиха вовсе в печати нет⁶. А писал он теперь как раз больше всего и едва ли не лучше всего. «J'ai fait quelques rimes...» — завернется в плащ, как полумесяц таинственный где-то за облаками — с него довольно. Как тайный, бледный месяц... Даже не скажешь, Богу ли предложены его стихи, или он их стихийно-волшебен поет и ни о чем не думает — сейчас же забывает.

В 1850 году добрался до него Некрасов. Написал статью в «Современнике»: «Русские второстепенные поэты» — среди них Тютчев. (В известной статье Гоголя из «Переписки с друзьями» он рядом с Туманским и Плетневым. Знаменитыми считались тогда Пушкин, Жуковский, Лермонтов, Крылов и Кольцов.) Некрасов Тютчева очень хвалит. Но и объясняет: «Поэтическая деятельность г. *Ф. Т.* продолжалась только пять лет». (Стихи печатались в «Современнике» с 1836 по 1840 г.) «Не можем сказать наверное, печатал ли он или нет где-нибудь свои стихотворения прежде». Но кто же он сам? Некрасов старается убедить, что все-таки русский, хотя стихи присланы из Германии. Где живет? Жив ли еще? Пожалуй что и умер «с тех

пор это имя вовсе исчезло из русской литературы. Неизвестно наверное, обратило ли оно на себя внимание публики в то время, как появилось в печати: но положительно можно сказать, что ни один журнал не обратил на него ни малейшего внимания».

Так Некрасов писал в Петербурге, где в это самое время жил Тютчев, жил открыто, блистал в салонах, при всем том «добродуший», о котором говорит Жуковский, был более всего известен остроумием и острословием, далеко не так добродушным. Это дневная сторона его. А ночная, подземная: *quelques rimes*, тайных, никому почти неведомых, прокладывавших путь к бессмертию. Но не через академии. Ныне без Общества Любителей Словесности!

Для Некрасова же, его почитателя и хвалителя, Тютчева просто нет. Он растаял, куда-то исчез, испарился.

Испариться Тютчев не мог никуда. После истории с самовольной отлучкой из Турина некоторое время не служил, а потом и это наладилось. Летом 44-го года с Эрнестиной Федоровной и детьми навсегда возвратился в Россию, поселился в Петербурге. С него сняли опалу, вернули «служебные права и почетные звания». Назначен был состоять при государственном канцлере «по особым поручениям».

И вот этот европеец блестящий, дипломат, *causeur*, политик (как раз появилась его статья о России и Германии, очень замеченная)... — и поэт! — становится вновь «русским». Каждый год ездит в Москву, на лето в родной Овстуг. Тут в нем двойное: и чувство к России, великое, мистическое. И всегдашняя напитанность западом — от него не отойдешь. С одного конца он славянофил. Хомяков, Аксаков считают его своим. Но представить себе Тютчева в мурмолке или боярском костюме...⁷ Европа сидела в нем так же прочно, как Николай Афанасьевич Хлопов.

Петербург даже нравился ему, но Петербург именно и был для него Европа, все то же общество русско-международное, «свет», дипломаты, министры, дамы, все тот же французский язык. Да и там север казался ему иногда «безобразным сновиденьем». И оттуда влек его юг, солнце, Италия.

Что же говорить о деревне! Сколь ни дворец в Овстуге, но вокруг первобытность. Он мог выйти в поле, в теплый летний вечер, неубранные еще крестцы ржей, горький запах полыни по межам, смиренный воз с навитыми снопами, мужик ведет лошадь степенно, воз поскрипывает, и поле таким кажется

златисто-безмерным, и другие возы, бабы, девки там где-то вдали двигаются беззвучно — все это очаровательно, в глубоко-мистическом духе свое и пронзающее... — но жизнь как на необитаемом острове. Поля, леса, небо, смиренные люди, полурабы, кто из них может прочесть две строки напечатанного? Где Шеллинг, Гейне, салоны, дамы? Где связь с центрами и политики и культуры? Без этого трудно ему было жить. Брянская глушь обладала своей прелестью, но долго выдержать в русской деревне, куда и газеты не доходили, он не мог.

По одному стихотворению 1849 года можно подумать, что и вообще к России он относился прохладно.

Итак, опять увиделся я с вами,
Места немилые, хоть и родные...

Оно кончается совсем печально:

Ах, нет, не здесь, не этот край безлюдный
Был для души моей родимым краем —
Не здесь расцвел, не здесь был величаем
Великий праздник молодости чудной —
Ах, и не в эту землю я сложил —
Все, чем я жил и чем я дорожил!

Но вот как раз и тишина, некое убожество, безответность родины и народа — это волновало и умиляло, несмотря на великолепный Запад. В поколыхивании коляски, едет ли он где-нибудь около Рославля или под Овстугом — там то вот и возникает другое, всегда жившее в нем, «друге» Николая Афанасьевича Хлопова, жившее подспудно и неистребимо: и природа русская, и особая красота смиренной христианской души, души народа тогдашнего —

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Как поэт к этому времени Тютчев созрел вполне — тайные прозрения в природе, чувство хаоса и трагедии мира, прозрачности блистательного дневного бытия, предчувствие бурь общественных, очарование и мучительность любви — все это выразилось уже в главных своих частях (эросу, впрочем, предстояли еще завершительные, пронзающие звуки). Но творение было разбросано или по старым журналам, или по рукописным альбомам, просто в рукописях — находилось вообще в беспорядке

полнейшем. Тютчеву пятьдесят лет, с фотографии мурановского музея глядит важный и строгий облик поэта-философа, с чуть германским оттенком, и у него ни одной книжки! Случай в литературе беспримерный.

С 48 года он служит старшим цензором в Министерстве иностранных дел, у него три дочери от первого брака, дети от второго — огромная семья, сложные и трудные отношения с женой, сильный интерес к политике и полное равнодушие к судьбе писаний своих. Как ранее Гагарин занялся ими, так теперь Тургенев выпустил книжку его стихотворений — в 1854 году. Труд собирания, а отчасти и редактирования выпал Тургеневу. Тютчев ничего не делал. Будто и не его стихи. Тургенев подправлял кое-что, может быть, с согласия автора, а часть, вероятно, самовольно⁸. Во всяком случае, Тютчев своею небрежностью задал задачу теперешним литературоведам: что тютчевское, что Тургенев подчистил.

Как бы то ни было, книжка вышла. Она окончательно привлекла к Тютчеву знаменитейших людей времени. Лев Толстой говорил⁹, что без Тютчева нельзя жить и «для себя» ставил его «выше Пушкина». Достоевский, Тургенев, из меньшей братии Фет, Некрасов, Полонский, Аксаковы, Аполлон Григорьев — все стихами его восхищались. Но именно только элита. И художники. Критики все проморгали. Среди читателей его просто не знали — и так вплоть до Владимира Соловьева, в девятых годах вновь и окончательно открывшего и прославившего его — главным образом как поэта философского и мистического прозрения. (Сторону эроса Соловьев в нем обошел.) Русские символисты приняли и передали славу его в XX век как провозвестника символизма¹⁰.

Но в его собственной судьбе, в начале пятидесятых годов, как и в звуке писаний его, связанных с любовью, не все было закончено. Даже, пожалуй, сильнейшее и наступало.

В Смольном Институте учились две дочери Тютчева (от первого брака) Дарья и Екатерина. Тютчев бывал там. У инспектрисы Института, Анны Дмитриевны Денисьевой, он познакомился с ее племянницей и воспитанницей Еленой Александровной — девушкой двадцати четырех лет.

До сих пор в списке тютчевских странствий сердечных имена иностранок: Амалия, Эмилия-Элеонора, Эрнестина — теперь появляется русская Елена. С ней входит в иной мир.

Раньше были великолепные графини в бриллиантах, декольте, с гладкими буклями над ушами. Елена Александровна Денисьева хоть и дворянка, но из мелких, отец ее служил даже

в провинции исправником. Достаточно взглянуть на фотографию Елены Александровны: скромно одетая, в накидочке, причесанная, как причесывались в шестидесятых годах наши матери, интеллигентка с тяжким, нервным взглядом, болезненная, вспыхивающая, очаровательная в своей возбудимости и несущая уже в себе драму.

Тютчев встретился с миром Достоевского. Так могла чувствовать, действовать Настасья Филипповна, или первая жена Достоевского¹¹.

Ее взгляд соответствовал участи. Горе принесла ей эта любовь, быстро перешедшая в связь. Горе Эрнестине Федоровне, жене законной, с которой продолжал он жить, — женщине холодноватой, выдержанной и сильной, крест свой несшей с достоинством. Горе взрослым дочерям его от первого брака, горе девочке Леле, дочери Елены Александровны. Ему самому тоже. Но это рок, ничего нельзя сделать. В его судьбу входило заклятие молодой жизни, его грех, породивший высокие звуки поэзии. За поэзию эту заплачено кровью.

Общество не прощало Тютчеву, а особенно Елене Александровне, «незаконности» их связи. Да еще у нее появились дети! Многие просто с ней раззнакомились, презрение и отчуждение над ней висели. А по Институту она была знакома с дочерьми Тютчева — вот и пришлось встретиться, например, при раздаче шифров. Как она чувствовала себя при этом!

И конечно, казалось ей, что недостаточно он ее любит. Она все отдала — положение, доброе имя, вообще всю себя. Он продолжает жить с семьей. Живет, служит, пишет стихи. У него и литература — тоже соперница. Свой мир. А он должен так же утонуть в ней, Елене Денисьевой, как она в нем.

Стихи его мало она понимала. Больше всего хотелось, чтобы в новом издании все и открыто было посвящено ей. На это он не пошел, вышла ужасная сцена, вполне из Достоевского.

Она была туберкулезная. Бурная жизнь, страдания сердца ускорили все, и в июле 1864 года, после четырнадцати лет связи с ним, она скончалась.

Весь день она лежала в забытии,
И всю ее уж тени покрывали —
Лил теплый летний дождь — его струи
По листьям весело звучали.

И медленно опомнилась она —
И начала прислушиваться к шуму,
И долго слушала, — увлечена,
Погружена в сознательную думу.

И вот, как бы беседуя с собой,
 Сознательно она проговорила:
 (Я был при ней, убитый, но живой)
 «О как все это я любила!»

Любила ты, и так, как ты, любить —
 Нет, никому еще не удавалось.
 О Господи!.. и это пережить...
 И сердце на клочки не разорвалось.

Если бы из гроба видела она, как принял он смерть ее, может быть, больше поверила бы в его любовь — хотя ей вообще нужна была беспредельность: все или ничего.

Вот что говорит об отце и его положении в это время Анна Федоровна Тютчева, его дочь, жившая тогда в Германии. «Я причащалась в Швальбахе. В день причастия я проснулась в шесть часов и встала, чтобы помолиться. Я чувствовала потребность молиться с особенным усердием за моего отца и за Елену Д. Во время болезни также мысль о них с большою живостью снова явилась у меня. Несколько недель спустя я узнала, что как раз в этот день и в этот час Елена Д. умерла. Я виделась снова с отцом в Германии. Он был в состоянии близком к помешательству...» И дальше: «Он всеми силами души был прикован к той земной страсти, предмета которой не стало»¹².

Сама она дошла до горестной, страшной мысли, что Бог не придет на помощь его душе, «жизнь которой была растрочена в земной и незаконной страсти».

А трагедия продолжалась: приносился в жертву еще новый агнец. Леля, дочь Тютчева и Денисьевой, девочка лет пятнадцати, училась в известном петербургском пансионе Труба¹³ (она носила фамилию Тютчева, он узаконил ее). Однажды дама, мать сверстницы Лели по пансиону, спросила ее, как поживает ее мама — разумея Эрнестину Федоровну. Леля не поняла и ответила о своей матери. Недоразумение тут же выяснилось. На девочку это произвело такое впечатление, что она убежала из пансиона и сказала Анне Дмитриевне, что никогда больше туда не вернется. Заболела нервным расстройством. А за ним скоротечная чахотка и она скончалась — в один день с полуторагодовалым братцем своим Колей.

Это прошло мимо литературы. Смерть матери прославлена в стихах. О гибели дочери нет ничего.

Так заканчивал свою жизнь удивительный человек Федор Иванович Тютчев, некогда юный принц Овстуга, баловень матери, мечтатель, не вмещавшийся ни в какие рамки, музыкант

стиха, нарушавший современные ему каноны его, предвосхищая будущий, юный дипломат и великий победитель сердец женских. Silentium и кипение страстей, созерцатель величия мира и душа непримиренная, душа Чистилища, человек верующий, но владеемый страстями, великий художник, как бы нехотя разбрасывающий богатства свои.

Ибсен на закате дней считал, что проглядел собственную жизнь (для искусства). Флобер вообще все отдал искусству, от всего по-монашески отказался. Тютчев был лирой, на которой сама стихия брала звуки, ей ведомые. Он лишь записывал — пронесившиеся сквозь него дуновения.

И был предан стихии жизни. Эрос томил его до последнего издыхания. Благочестиво-духовная Анна Федоровна желала бы, чтобы отец победил духом, взшел на ступень наджизненную. Этого ему не было дано. Ему было дано из своей жизни извлечь некий нектар чарующий, в виде созвучий, в тишине и безвестности собирать его, не гонясь ни за шумом и ни за славою. Шум не пришел и никогда имени этого не возмутит. Но пришла слава поздняя и посмертная, благородная, настоящая золотая слава. В искусстве, к которому он относился как будто бы так равнодушно-небрежно, он оказался победителем — поздним, но прочным. Жизнь, которая будто волшебным образом улыбалась ему с раннего детства, несла за успехом успех, за одним женским сердцем другое, и третье... — и еще мы не знаем какое! — вот она-то и поднесла поражение. Кажется, это вроде закона: лирики побеждаются жизнью. Они слишком лунатичны и сомнамбуличны. Слишком стихиям подвержены, являясь верными арфами их. Жизнь Тютчева можно рассматривать как художественное произведение: имя ему драма.

Никитенко записал у себя в дневнике, в июне 1873 года: «неделя прошла в борьбе со смертью. Тютчев сам вспомнил о священнике, но исповедоваться не мог — язык ему не повиновался».

Умирал он на руках Эрнестины Федоровны, сознавая всю тягость и трудность прожитого, всю ответственность души своей, «болезненно греховной», и в самые страшные минуты, уже разбитый параличом, видя смерть, держался за давнюю подругу — последнее утешение.

Все отнял у меня князящий Бог:
Здоровье, силу воли, воздух, сон.
Одну тебя при мне оставил Он,
Чтоб я Ему еще молиться мог.

